

Глава 1

Деде

1994 год

и

около 1943 года

Деде обрезает сухие ветки с куста стрелиции, выглядывая из-за него каждый раз, когда слышит шум проезжающей машины. Никогда в жизни эта дамочка не найдет старый дом за высокой живой изгородью из гибискуса на повороте грунтовой дороги! Кто угодно, только не доминиканка-гринго*, которая разъезжает в арендованной машине, ориентируясь по карте и спрашивая у прохожих названия улиц.

Она позвонила сегодня утром, когда Деде была в своем небольшом музее. Дамочка интересовалась: можно ли ей приехать и поговорить с Деде о сестрах Мирабаль? Сама она родилась в Доминикане, но много лет живет в Штатах, поэтому извиняется за плохой испанский. О сестрах Мирабаль там совсем ничего не знают, и ей от этого очень горько, мол, попросту преступно их забывать, ведь они настоящие героини подполья, и всё такое.

* Гринго (англ. gringo от исп. griego — грек) — иностранец, англоговорящий выходец из другой страны в странах Латинской Америки. — *Здесь и далее прим. пер.*

Бог ты мой, — думает Деде, — неужели опять? Теперь, спустя тридцать четыре года после трагедии, ее уже почти не тревожили мемориальными торжествами, интервью и вручением посмертных наград, и она снова могла день за днем заниматься своими делами. Ей пришлось смириться только с ноябрьской суетой. Каждый год с приближением 25 ноября сюда неизменно съезжались телевизионщики, Деде всенепременно давала очередное интервью, а потом обязательно устраивала памятный вечер в музее, где соби-
рались делегации из самых разных стран, вплоть до Перу и Парагвая, — настоящее испытание, ведь каждый раз нужно готовить целые горы канапе, а племянники и племянницы вовсе не спешат приехать пораньше, чтобы ей помочь. Но сейчас-то март! ¡Maria Santísima!* Неужели она не имеет права пожить спокойно еще семь месяцев?

— Давайте сегодня после обеда? Вечером у меня дела, — врет Деде женщине в трубке. Но это вынужденная ложь. Иначе они повадятся ездить к ней без конца и края, задавая самые бесцеремонные вопросы.

На другом конце провода, как из пулемета, раздается целая очередь благодарностей, и Деде невольно улыбается от того, какую чепуху ее собеседница гордит на испанском.

— Я так скомпрометирована, — говорит она, — открытостью ваших теплых манер! Скажите, если я поеду из Сантьяго, мне нужно пропустить поворот на Сальседо?

— Exactamente**. А как доберетесь до большой мексиканской оливы, поверните налево.

* Пресвятая Мария! (исп.)

** Точно, именно так (исп.).

— Большая... мексиканская... олива, — повторяет женщина. Она что, все это записывает? — Повернуть налево... А как улица называется?

— Просто дорога налево от оливы. Мы тут никак улицы не называем, — говорит Деде, принимаясь машинально что-то выводить на оборотной стороне конверта у музейного телефона, чтобы сдержать нетерпение. У нее получается развесистое, усыпанное цветами дерево с ветками на клапане конверта. — Видите ли, большинство местных campesinos* не умеют читать, так что никому не будет никакой пользы, если мы начнем давать улицам названия.

Женщина в трубке смущенно смеется.

— Да-да, я понимаю. Вы, наверное, думаете, что у меня не все по домам. Tan afuera de la cosa**.

Деде прикусывает губу.

— Ну что вы, вовсе нет, — снова лукавит она. — Увидимся после обеда.

— Примерно в котором часу? — не унимается дамочка.

Ну, конечно. Гринго жить не могут без точного времени. Но как определить точное время для удачного момента?

— В любое время после трех, может, в полчетвертого или около четырех.

— По доминиканскому времени, да? — шутит женщина.

— ¡Exactamente!

Наконец-то, дамочка начинает догадываться, как здесь делаются дела. Положив трубку, Деде продолжает рисовать

* селян (исп.).

** Нечто среднее между «выжить из ума» и «быть вне себя» (искаж. исп.).

корни мексиканской оливы, затушевывает ветки, а потом несколько раз открывает и закрывает клапан конверта, с интересом наблюдая, как дерево распадается на части и вновь складывается воедино.

*

Деде с удивлением слышит, как по радио на летней кухне передают время: сейчас всего три часа. Она начала с нетерпением ждать встречи сразу после обеда, тщательно прибирая участок сада, который будет виден американке с *galería**. Вот потому-то Деде и недолюбливает эти бесконечные интервью. Сама того не замечая, она каждый раз начинает приукрашать свою жизнь, будто какой-то выставочный экспонат, аккуратно подписанный для тех, кто умеет читать: «Сестра, которая выжила».

Обычно, если она все делает как надо — подает лимонад из плодов посаженного Патрией дерева, проводит короткую экскурсию по дому, в котором они с сестрами выросли, — гости уходят вполне довольными, не задавая острых вопросов, из-за которых Деде каждый раз на целые недели проваливается в воспоминания, пытаясь найти ответ. Ведь все они — в той или иной форме — об одном и том же: почему в живых осталась именно она?

Деде склоняется над своей особой гордостью, орхидеей-бабочкой, которую контрабандой привезла с Гавайских островов пару лет назад. Три года подряд она выигрывала приз — заграничную поездку — как лучший агент

* галереи (исп.).

страховой компании. Ее племянница Мину не упускала случая напомнить, насколько иронична «новая» профессия Деде, которую та освоила лет десять назад, сразу после развода. Теперь она стала в компании главным продавцом страхования жизни. Ничего не поделаешь, каждый хочет купить страховой полис именно у той женщины, которая чудом выжила, когда три ее сестры погибли.

Громко хлопает дверца машины, Деде вздрагивает. Переведя дух, она обнаруживает, что случайно срезала свою трофейную орхидею-бабочку. Она поднимает упавший цветок и, нахмурившись, подрезает стебель. Возможно, это единственный способ оплакивать большие потери — пить печаль небольшими глотками, понемногу, по чуть-чуть.

Но ей-богу, этой дамочке стоило бы потише хлопать дверцей. Могла бы и пощадить нервы пожилой женщины. И это ведь не только ко мне относится, думает Деде. Любой доминиканец ее поколения подпрыгнул бы от такого оружейного хлопка.

*

Деде быстро показывает госте дом: это спальня Патрии и ее, Деде, но в основном ее, поскольку Патрия рано вышла замуж; здесь комнаты Минервы и Марии Тересы; тут спальня мамы. Еще одну спальню, о которой она не упоминает, занимал отец, с тех пор как они с мамой перестали спать вместе. На стене висят три милые старые фотографии девочек, которые теперь каждый ноябрь красуются на огромных постерах, превращая карточки из семейного

фотоальбома в изображения каких-то знаменитостей, совсем не похожих на ее сестер.

На столике под фотографиями Деде поставила в вазу шелковую орхидею. Ее все еще мучает совесть из-за того, что она не продолжает мамину традицию каждый день приносить в дом свежие цветы для девочек. По правде говоря, ей совсем не до этого: все время отнимают работа, музей, домашние дела. Невозможно быть современной женщиной и поддерживать сентиментальные привычки прошлого. Да и для кого теперь приносить в дом свежие орхидеи? Деде поднимает взгляд на молодые лица и понимает, что если и скучает, то больше всего — по себе в этом возрасте.

Интервьюерша останавливается перед портретами, и Деде ждет, когда она спросит, кто есть кто или сколько им здесь лет: она столько раз отвечала на эти вопросы, что ответы так и норовят сорваться с языка. Но вместо этого худая как щепка дамочка спрашивает:

— А где же вы?

Деде смущенно улыбается: гостя будто прочитала ее тайные мысли.

— Здесь у меня только девочки, — говорит она. За спиной у женщины она видит, что оставила дверь в свою теперешнюю комнату приоткрытой и в проеме видна ее ночная рубашка, небрежно брошенная на кровать. Деде корит себя, что не прошла по всему дому и не позакрывала все двери.

— Нет, в смысле, какая вы по старшинству: младше всех, старше или где-то посередине?

Так, то есть дамочка не прочитала ни одной из кучи бесконечных статей и биографий. Деде вздыхает с облегчением. Это значит, что они могут провести время за разговорами

о самых простых вещах, создающих иллюзию, что у нее была обыкновенная семья, спокойное течение жизни которой нарушали разве что дни рождения, свадьбы да появления младенцев на свет.

Деде называет сестер по старшинству.

— Такие близкие по возрасту, — роняет женщина очередную неуклюжую фразу.

Деде кивает.

— Первые три из нас родились буквально друг за другом, но, знаете, при этом мы были очень разными.

— Правда? — удивляется женщина.

— Да, совсем разными. Минерва вечно норовила со всеми разобраться, кто прав, кто виноват. — Деде ловит себя на том, что разговаривает с портретом Минервы, будто назначая ей какую-то роль, ограничивая ее личность горсткой определений: красивая, умная, великодушная Минерва. — А Мария Тереса, *ay Dios**, — вздыхает Деде и продолжает дрогнувшим голосом: — Она была совсем еще девочкой, когда умерла, *robrecita***, ей едва двадцать пять стукнуло. — Переходя к последней фотографии, Деде поправляет рамку. — А для милой Патрии самым главным в жизни всегда была религия.

— Всегда? — переспрашивает гостя с еле заметной тенью недоверия в голосе.

— Всегда, — твердо повторяет Деде, привыкшая к устоявшемуся, однообразному языку интервьюеров и прочих исследователей истории ее сестер. — Ну или почти всегда.

* о Боже (исп.).

** бедняжка (исп.).

Она ведет женщину из дома в галерею, где стоят кресла-качалки. Под гнутой ножкой одного из них безмятежно спит котенок, Деде прогоняет его.

— Так что же вы хотели узнать? — спрашивает она без лишних церемоний, но, заметив, что прямолинейность вопроса застает женщину врасплох, тут же добавляет: — Просто там столько всего можно рассказать.

Женщина, улыбаясь, отвечает:

— Расскажите мне всё!

Деде поглядывает на часы, вежливо напоминая гостье, что время ее визита ограничено.

— Есть масса книг и статей. Я могу попросить Тоно из музея показать вам письма и дневники.

— Это было бы здорово, — говорит женщина, не отрывая глаз от орхидеи, которую Деде все еще держит в руке. Очевидно, посетительнице нужно нечто большее. Она застенчиво поднимает глаза.

— Послушайте, с вами так легко разговаривать. Вы такая открытая и неунывающая! Как вам удастся не позволять такой ужасной трагедии завладеть собой? Не уверена, что правильно выражаюсь...

Деде вздыхает. Нет, дамочка выразилась вполне себе правильно. Деде вспоминает, как читала в салоне красоты журнальную статью, написанную еврейкой, пережившей концлагерь.

— Дело в том, что у нас было много-много счастливых лет. Я их помню. Пытаюсь, во всяком случае. И постоянно твержу себе: Деде, думай о хорошем! Моя племянница

Мину считает, что я занимаюсь трансцендентальной медитацией — она на таких курсах училась в столице. Так вот, я себе говорю: Деде, в твоей памяти есть такой-то день — и проживаю его вновь и вновь, будто проигрываю на повторе счастливые моменты в голове. Это такое мое кино — видите, у меня и телевизора нет!

— И что, получается?

— Конечно! — решительно восклицает Деде. А когда не получается, Мину считает, что она, Деде, застревает на чем-то плохом. Но зачем об этом говорить?

— Расскажите мне об одном из таких моментов, — просит женщина, и ее лицо озаряется отчаянным любопытством. Она тут же прячет взгляд, чтобы это скрыть.

Деде медлит в нерешительности, но ее мысли уже уносятся в прошлое, год за годом, год за годом, вплоть до того момента, который она закрепила в памяти как начало.

Деде вспоминает ясную лунную ночь накануне того, как наступило будущее. В прохладной темноте они сидят в креслах-качалках под мексиканской оливой во дворе дома и рассказывают друг другу истории, попивая сок гуанабаны. Мама всегда говорила, что он полезен для нервов.

Все в сборе: мама, папа, Патрия, Деде, Минерва, Мария Тереса. Пиф-паф, пиф-паф, — папа любит складывать из пальцев пистолет и в шутку направлять его на каждую из них, делая вид, будто стреляет, в знак того, что не особо гордится их зачатием. Три девчонки, родившиеся с разницей в год! А потом, девять лет спустя — Мария Тереса, его последняя отчаянная попытка зачать мальчика — и тоже неудачная.

У папы на ногах тапочки, он сидит, закинув ногу на ногу. Время от времени Деде слышит, как бутылка рома со звоном ударяется о край его стакана.

Нередко в такие вечера из темноты к ним обращается робкий голос, рассыпаясь в извинениях, и тот вечер не исключение. Не будут ли они так добры и не одолжат ли таблетку *calmante** для захворавшего ребенка? И не угостят ли табаком утомленного старика, что целый день перетирал юбку?

Отец встает, слегка покачиваясь от выпивки и усталости, и открывает магазин. Сосед уходит восвояси с лекарством, парой сигар и горсткой леденцов для крестников. Деде говорит отцу, что никак не возьмет в толк, отчего у них так хорошо идут дела, если он вечно все раздает направо и налево. Но отец лишь кладет руку ей на плечи и говорит:

— Ай, Деде, вот для этого я тебя и родил. Каждой мягкой ноге нужна твердая туфля. — И добавляет со смехом: — Она еще всех нас похоронит в шелках и перьях! — Деде снова слышит, как бутылка ударяется о стакан. — Да, точно, быть нашей Деде главной богачкой в семье.

— А мне, папа, мне кем быть? — Мария Тереса подает свой детский голосок, чтобы ее тоже непременно не забыли взять с собой в будущее.

— А ты, *мі йаріта***, ты будешь нашей кокеткой. Из-за тебя куча мужиков будет... — Мама издает свой фирменный кашель «сведи-за-языком». — ...Будет слюнки пускать.

* болеутоляющего средства (исп.).

** моя малышка (исп.).

Мария Тереса тяжело вздыхает. В свои восемь лет, в клетчатой блузке и с длинными косичками, единственное, чего хочет девочка от будущего, — чтобы у нее самой текли слюнки от конфет и подарков в больших коробках, в которых что-то заманчиво гремит, если их потрясти.

— А как же я, папа? — спокойным голосом спрашивает Патрия. Сложно сейчас представить Патрию незамужней и без ребенка на коленях, но память Деде уже начала играть с прошлым. Той ясной прохладной ночью, накануне того, как наступило будущее, она рассадила их всех, как кукол: мама, папа и четыре милых девочки, никого лишнего, все пока в сборе.

Папа призывает маму помочь ему. Особенно — хоть он этого и не говорит — если она сомневается в его способности к предсказаниям после нескольких стаканов рома.

— Ну, мамочка, что скажешь о нашей Патрии?

— Ты прекрасно знаешь, Энрике, я в это не верю, — бесстрастно произносит мама. — Падре Игнасио считает, что предсказания для тех, кто не верит в Бога. — В тоне матери Деде уже слышит, как они с отцом отдаляются друг от друга. Оглядываясь назад, она думает: ай, мама, ослабь свои строгие заповеди хоть чуть-чуть. Пора бы уже усвоить христианскую математику: отдаешь совсем немного, а получаешь обратно сторицей. Но вспоминая о своем собственном разводе, Деде признает, что эта математика работает не всегда. Если помножить на ноль, получишь ноль плюс тысячу душевных терзаний.

— Я тоже не верю в предсказания, — скороговоркой выпаливает Патрия. Эта сестрица всегда была такой же религиозной, как мама. — Но папа вовсе не предсказывает судьбу.

Минерва горячо соглашается.

— Вот именно! Папа просто *верует* в то, что считает нашими сильными сторонами. — Она особо выделяет глагол «верует», будто отец как благочестивый христианин просто волнуется о будущем своих дочерей. — Так ведь, папа?

— *Sí, señorita**, — невнятно произносит папа с отрыжкой. Пора бы уже всем возвращаться в дом.

— А еще, — добавляет Минерва, — падре Игнасио осуждает предсказания, только если человек считает, что ему дано знать то, что известно одному лишь Богу.

Этой девчонке палец в рот не клади.

— Кто-то возомнил себя самым умным, — отрывисто говорит мама.

Мария Тереса защищает обожаемую старшую сестру:

— Но это же совсем не грех, мама. Берто и Рауль привезли из Нью-Йорка одну игру. Падре Игнасио с нами в нее играл. Это такая доска с буквами и специальным стеклышком: ты его двигаешь — и оно предсказывает будущее!

Все смеются, даже мама, потому что голосок Марии Тересы умилительно срывается от волнения. Малышка внезапно замолкает, надув губы. Ее чувства так легко ранить. Минерва подбадривает ее, и она продолжает тоненьким голоском.

— Я спросила у говорящей доски, кем я стану, когда вырасту, и она ответила: юристом.

На этот раз все сдерживают смех, хоть Мария Тереса, как попугайчик, повторяет планы старшей сестры: Минерва

* Да, сеньорита (исп.).

многие годы с пылом твердит, что хочет поступить на юридический факультет.

— Ай, Dios mío*, опять двадцать пять, — вздыхает мама, но игривость возвращается в ее голос. — Только этого нам не хватало, юбки в суде!

— Да, и это именно то, чего не хватает нашей стране. — В голосе Минервы звучит стальная уверенность, которая появляется всякий раз, когда она говорит о политике — а в последнее время она говорит об этом постоянно. Мама считает, что она слишком много общается с этой девчонкой, Перосо. — Настало время, когда мы, женщины, получили голос в управлении страной.

— Ага, вы и Трухильо, — говорит папа чуть громче, чем следовало, и в эту ясную мирную ночь каждый из них погружается в свои мысли. Внезапно темнота заполняется шпионами, которым платят за то, чтобы подслушивать и докладывать в службу безопасности: *дон Энрике утверждает, что Трухильо нужна помощь в управлении страной. Дочь дона Энрике заявляет, что пришло время женщинам взять управление в свои руки.* Слова повторяют, слова искажают, слова воспроизводят те, кто мог затаить на них обиду, слова сшивают с другими словами, до тех пор, пока не образуется саван, под которым будут похоронены сестры, когда их тела найдут в канаве с отрезанными языками — за то, что слишком много говорили.

Вдруг тишину нарушают крупные капли дождя, хотя ночь по-прежнему ясна, как колокольный звон, — все начинают суетиться, спешно собирая напитки и пледы

* Боже мой (исп.).

с кресел-качалок, которые позже занесет в дом кто-нибудь из работников. Мария Тереса визжит, наступив на камень.

— Я подумала, это el cuso!* — голосит она.

Когда Деде помогает отцу подняться по лестнице галереи, до нее доходит, что единственным будущим, которое он действительно предсказал, было ее будущее. Марию Тересу он просто дразнил, а до Минервы и Патрии так и не добрался из-за неодобрения мамы. У Деде по спине пробегает холодок, и она чувствует всем существом: будущее начинается прямо сейчас. Совсем скоро оно закончится и станет прошлым, и она отчаянно не желает быть единственной, кто останется, чтобы рассказать их историю.

* Эль Куко (исп.) — существо из латиноамериканского фольклора, аналогичное славянским Буке, Бабайке.

Глава 2

Минерва

1938, 1941, 1944 годы

Заморочки

1938 год

Я не знаю, кто уговорил папу отправить нас в школу. Кажется, это было бы под силу разве что ангелу, который явился Деве Марии и сообщил, что она беременна Богом, да так, что она еще и возрадовалась благой вести.

Нам всем четверым приходилось просить разрешение буквально на всё: отправиться в поля поглазеть, как зреет табак; пойти в лагуну помочить ноги в воде в жаркий день; погладить лошадей у магазина, пока покупатели грузят припасы на телеги.

Иногда, наблюдая за кроликами в загонах, я думала: а ведь я ничем не отличаюсь от вас, бедняжки. Однажды я открыла клетку и выпустила одну маленькую крольчиху на свободу. Я даже легонько шлепнула ее, чтобы она убежала.

Но она не тронулась с места! Она привыкла к своему загончику. Тогда я снова шлепнула ее, и еще, и еще, с каждым разом все сильнее, пока она не начала хныкать, как испуганный ребенок. Я заставляла ее стать свободной, а ей было больно.

Глупая зайка, подумалось мне. Я совсем не такая, как ты.

Все началось с того, что Патрия решила уйти в монастырь. Мама была обеими руками за то, чтобы в семье хоть кто-то ударился в религию, но папа этот план совсем не одобрял. Он не раз говорил, что для Патрии податься в монахини — значит загубить такую симпатичную мордашку. При маме он сказал это лишь однажды, но при мне повторял постоянно.

Только в конце концов папа сдался на уговоры мамы. Он рассудил, что Патрия может поступить в католическую школу при монастыре, если там учат не только тому, как стать монахиней. Мама согласилась.

Когда Патрии пришло время отправляться в Школу Непорочного Зачатия, я спросила папу, можно ли мне поехать с ней. Мне казалось очень почетным сопровождать старшую сестру, которая уже стала взрослой сеньоритой (а она к тому времени уже подробно рассказала мне, как девочки становятся сеньоритами).

В ответ папа рассмеялся, и в его глазах блеснула искра гордости за меня. Все вокруг твердили, что я была его любимцей. Не знаю почему, ведь я, как раз наоборот, всегда ему противоречила. Он усадил меня к себе на колени и спросил:

— А тебя кто будет сопровождать?

— Деде, — без раздумий ответила я, чтобы мы могли поехать все втроем. У папы вытянулось лицо.

— Как же я буду жить, если все мои цыплятки уедут?

Я подумала, что он шутит, но его глаза смотрели серьезно.

— Папа, — сказала я деловым тоном, — тебе все равно пора привыкать. Через несколько лет мы все выйдем замуж и уедем.

Много дней он припоминал мне эту фразу, печально качая головой и вздыхая:

— Дочка — это иголка в сердце.

Маме не нравилось, когда он так говорил. В этой фразе ей слышался упрек за то, что их единственный сын умер через неделю после рождения. А три года назад вместо мальчика родилась Мария Тереса.

Как бы там ни было, мама не считала такой уж плохой идеей отправить в монастырскую школу всех нас троих.

— Энрике, девочкам нужно учиться. Ты посмотри на нас! — Мама никогда в этом не признавалась, но я подозревала, что она даже читать не умела.

— А что с нами не так? — удивлялся папа, показывая за окно, где целая вереница повозок ждала погрузки товаров с его складов. За последние несколько лет папа заработал на своем ранчо кучу денег. У нас появилось кое-какое положение в обществе. И, как считала мама, теперь вдобавок к состоянию нам требовалось еще и получить образование.

Папа снова сдался, но только при условии, что одна из нас останется помогать ему с магазином. Что бы ни предложила мама, ему всегда нужно было добавить небольшое дополнение от себя. Мама говорила, что ему обязательно надо на все наклеить свою марку, чтобы никто не мог сказать, что Энрике Мирабаль в своей семье зря носит штаны.

Я прекрасно понимала, к чему клонит папа. Когда он спросил, кто из нас станет его маленькой помощницей, то сразу посмотрел на меня.

Не сказав ни слова, я продолжала внимательно изучать пол, будто на его досках были мелом нацарапаны школьные уроки. Но мне не стоило беспокоиться: в таких случаях

всегда подавала голос наша маленькая мисс Улыбка — Деде.

— Папа, я останусь и буду тебе помогать.

Тот удивился, потому что Деде была старше меня на год. По логике ехать следовало ей и Патрии. Но потом он передумал и разрешил Деде к нам присоединиться. Так и решили: в Школу Непорочного Зачатия отправлялись все трое. Мы с Патрией должны были приступить к учебе осенью, а Деде — в январе, поскольку папа хотел, чтобы эта всезнайка помогла ему с бухгалтерией во время хлопотного сезона сбора урожая.

Вот так и началось мое освобождение. Я имею в виду не только то, что я отправилась в школу-пансион на поезде с полным чемоданом новых вещей. Я скорее говорю о внутреннем освобождении: я оказалась в Школе Непорочного Зачатия, встретила Синиту, узнала, что случилось с Линой, и до меня наконец дошло, что я всего лишь покинула маленькую клетку, чтобы попасть в большую, размером со всю нашу страну.

*

Впервые я увидела Синиту в монастырской приемной, где сестра Асунсьон приветствовала новых учениц и их мам. Это была худенькая девочка с кислым выражением лица и нескладно торчащими локтями. Она сидела в приемной совсем одна и была одета во все черное, что выглядело довольно странно, поскольку большинство детей не облачаются в траур, пока им не исполнится по крайней мере пятнадцать. Девчонка точно не выглядела старше меня,

а мне было всего двенадцать. Впрочем, в тот момент я бы поспорила с любым, кто сказал бы мне, что я еще ребенок.

Я наблюдала за ней. Похоже, любезные беседы в приемной монастыря навевали на нее не меньшую скуку, чем на меня. Слушая бесконечные комплименты матерей в адрес чужих дочерей и их лепет на хорошем испанском в ответ на вопросы сестер Ордена Матери Милосердия, я хотела хорошенько отряхнуть мозги от толстого слоя пудры. Но где мать этой девочки? Мне было жутко любопытно. Она сидела одна, разглядывая всех вокруг с таким видом, что, казалось, если спросить у нее, где ее мать, она тут же учинит драку. Впрочем, от меня не укрылось, что она ерзает на стуле, пряча под себя ладони, и покусывает нижнюю губу, чтобы не заплакать. Ремешки на ее туфлях кто-то обрезал, чтобы они выглядели как балетки, но на самом деле выглядели они лишь изрядно поношенными.

Встав с места, я притворилась, что изучаю картины на стенах, как ярая поклонница религиозного искусства. Добравшись до изображения Матери Милосердия прямо над головой Синиты, я нащупала в кармане и вытащила пуговицу, которую нашла в поезде накануне. Она сверкала как бриллиант, и сзади у нее имелась небольшая дырочка, в которую можно было продеть ленту, чтобы носить на шее, как элегантное кольцо-чокер. Я так делать ни за что не стала бы, но прекрасно понимала, что эта вещица позволит заключить выгодную сделку с тем, кому такие вещи по душе.

Я протянула пуговицу девочке, не зная, что сказать, и, вероятно, это все равно не помогло бы. Она взяла пуговицу, покрутила в руке и положила ее обратно мне на ладонь.

— Мне не нужна твоя милостыня.

У меня внутри все сжалось от возмущения.

— Это просто пуговица. В знак дружбы.

Она на мгновение задержала на мне взгляд — оценивающий взгляд человека, который ни в ком не может быть уверен, — и спросила с ухмылкой, будто мы уже были подругами и могли подтрунивать друг над другом:

— А сразу не могла сказать?

— Ну вот, говорю, — ответила я. Разжав ладонь, я снова протянула ей пуговицу. На этот раз она ее взяла.

*

После того как мамы уехали, мы встали в очередь, пережидая, пока сестры составляли опись вещей из наших чемоданов. Я заметила, что, вдобавок к отсутствию мамы, у Синиты и вещей с собой было совсем немного. Все ее пожитки были завязаны в узел, и, когда сестра Милагрос вносила их в опись, они заняли всего пару строчек: *три смены белья, четыре пары носков, щетка и расческа, полотенце и ночная рубашка*. Синита показала сестре Милагрос блестящую пуговицу, но та сказала, что ее записывать не обязательно. Тут по очереди пробежал шепоток:

— Она по программе малоимущих.

— И что с того? — с вызовом спросила я у смешливой девчонки с кудряшками, мелкими как икота, которая прошептала мне это на ухо. Она тут же прикусила язык. Про себя я обрадовалась еще больше, что подарила Сините пуговицу.

Когда списки были составлены, нас отвели в зал собраний и наговорили нам кучу приветствий и напутствий. Потом

сестра Милагрос, в ведении которой находились девочки десяти–двенадцати лет, отвела нашу небольшую группу вверх по лестнице, в большой dormitorio, где нам предстояло спать всем вместе. Кровати стояли почти вплотную друг к другу и были завешены москитными сетками. Казалось, что спальня наполнена целым выводком невест, и каждая спряталась под свадебной фатой.

Сестра Милагрос сказала, что пора распределить среди нас кровати согласно нашим фамилиям в алфавитном порядке. Тут Синита подняла руку и спросила, можно ли ей занять кровать по соседству с моей. Сестра Милагрос помедлила, но потом ее взгляд потеплел. «Конечно», — сказала она. Но когда другие девочки попросили ее о том же, она им отказала. Тогда подала голос я:

— Мне кажется, несправедливо, что вы сделали исключение только для нас.

Сестра Милагрос удивленно подняла брови. Я подумала, раз она монашка и все такое, ей не слишком часто приходилось слышать, что такое хорошо и что такое плохо. А еще до меня вдруг дошло, что эта пухленькая маленькая монахиня с парой седых прядей, выбившихся из-под чепца, вовсе не мама или папа, с которыми можно было спорить сколько душе угодно. Я собралась уже было извиниться, но сестра Милагрос просто улыбнулась своей щербатой улыбкой и сказала:

— Ну ладно, разрешаю всем выбрать себе кровати. Но при первых же признаках любых споров, — несколько девочек уже бросились к лучшим кроватям у окна и спорили, кто оказался там первым, — мы вернемся к алфавитному порядку. Это ясно?

— Да, сестра Милагрос, — хором ответили мы.
Она подошла ко мне и взяла мое лицо в ладони.

— Как тебя зовут? — спросила она.

Я назвала ей свое имя, и она повторила за мной несколько раз, будто пробуя его на вкус. Потом она улыбнулась, будто этот вкус ей понравился, бросила взгляд на Синиту, к которой все здесь, похоже, были равнодушны, и сказала:

— Позаботься о нашей дорогой Сините.

— Хорошо, — сказала я, вытянувшись по струнке, как будто мне давали важное задание. В итоге так оно и вышло.

*

Несколько дней спустя сестра Милагрос собрала всю нашу группу для разговора. О личной гигиене, как она сказала. Я сразу поняла, что речь пойдет о самых интересных вещах, описанных самым неинтересным образом.

В первую очередь она рассказала о неприятных ночных происшествиях. Если кому-то из нас понадобится чистая простыня, мы должны тут же подойти к ней. Лучший способ предотвратить неприятности — обязательно навесить ночной горшок перед тем, как отправляться в постель. Есть вопросы?

Ни одного.

Потом на ее лице появилось застенчивое выражение. Вполне вероятно, мол, некоторые из вас в этом году станут девушками. Дав самое запутанное объяснение, что да почему, она подытожила: как только у нас начнутся эти заморочки, мы должны сразу подойти к ней. В этот раз она не спросила, есть ли у нас вопросы.

Меня так и подмывало самой все ей объяснить, самыми простыми словами, как в свое время мне объяснила Патрия. Но я догадывалась, что в первую же неделю пребывания в школе не стоит дважды испытывать удачу.

Когда сестра Милагрос ушла, Синита спросила меня, что за ерунду она несла. Я посмотрела на нее с удивлением. Приезжает, значит, такая вся разодетая в черное, как взрослая, и не знает таких простых вещей. Я тут же выложила все, что знала о месячных, и как между ног появляются дети. Синита слушала, открыв рот, потом горячо поблагодарила и сказала, что в ответ может раскрыть мне тайну Трухильо.

— Что еще за тайна? — спросила я. Мне казалось, что Патрия уже рассказала мне все секреты.

— Позже узнаешь, — ответила Синита, оглянувшись по сторонам.

*

Прошла пара недель, прежде чем Синита поделилась, наконец, своим секретом. К тому времени я уже забыла о нем или, может, просто выкинула его из головы, инстинктивно опасаясь того, что могу узнать. Мы все время были заняты уроками и общением с новыми друзьями. Почти каждую ночь кто-то из девочек приходил к нам в гости под москитные сетки или мы наносили им ответный визит. К нам с Синитой зачастили две девочки, Лурдес и Эльса, и очень скоро мы вчетвером стали неразлучны. У каждой из нас были свои особенности: Синита из малоимущих, и это было заметно; Лурдес — толстушка, хотя, когда она спрашивала, не толстая ли она (а спрашивала она часто), как настоящие подруги мы называли ее

прелестно пухленькой; Эльса очень хорошенькая, но как будто сама удивлялась этому факту и постоянно хотела всем это доказать. Что касается меня, я просто не умела держать язык за зубами, когда мне было что сказать.

В ту ночь, когда Синита рассказала мне тайну Трухильо, я не могла уснуть. Весь день перед этим у меня болел живот, но я так ничего и не сказала сестре Милагрос. Я боялась, что она запрет меня в больничной палате и мне придется лежать прикованной к постели, слушая, как сестра Консуэло читает новены* для больных и умирающих. А еще, если бы о болезни узнал папа, он забрал бы меня домой и держал там взаперти и я умерла бы от скуки.

Я лежала на спине, таращась на белый венец mosquito-сетки, и гадала, кто еще из девочек не спит. Тут в соседней кровати начала тихонько плакать Синита, так тихо, будто не хотела, чтобы ее кто-нибудь услышал. Я немного подождала, но она все не прекращала. Наконец я вылезла из постели и подняла ее сетку.

— Что случилось? — прошептала я.

Прежде чем ответить, ей потребовалось время, чтобы немного успокоиться.

— Это из-за Хосе-Луиса.

— Из-за брата? — Всем девочкам было известно, что брат Синиты умер совсем недавно, летом. Потому Синита и была одета во все черное в тот первый день в школе.

* Новена (от лат. novem — девять) — молитвы, совершаемые ежедневно на протяжении девяти дней по образу девятидневного ожидания, которому предались апостолы после вознесения Иисуса Христа.

Из-за рыданий она начала содрогаться всем телом. Я залезла к ней под одеяло и стала гладить ее по голове, как делала мама, когда у меня была температура.

— Расскажи мне, Синита, тебе станет легче.

— Я боюсь, — прошептала она. — Нас всех могут убить. Это и есть тайна Трухильо.

Никому и никогда не стоило мне говорить, что мне нельзя знать то, что мне *нужно* было знать. Я тут же напонила ей:

— Да брось, Синита. Я же тебе рассказала, откуда берутся дети.

Ее пришлось еще немного поугаваривать, но в конце концов она сдалась.

Она рассказала о себе такие вещи, о которых я даже не подозревала. Я думала, что она всегда была бедной, но оказалось, что ее семья раньше была богатой и влиятельной. Три ее дяди даже были друзьями Трухильо. Но они отвернулись от него, когда узнали, что он делает нечто ужасное.

— Нечто ужасное? — переспросила я. — Трухильо делает нечто ужасное?

Для меня эта новость была равносильна тому, что Иисус ударил младенца или что наша Пресвятая Богородица не зачала Его непорочным зачатием.

— Этого не может быть, — сказала я, но почувствовала, как глубоко внутри появилось сомнение, словно трещина на фарфоровой чашке.

— Подожди, — прошептала Синита, в темноте закрывая мне рот тонкими пальцами. — Дай договорить. Узнав об этом, мои дяди планировали сделать что-то с Трухильо, но на них кто-то донес, и всех троих застрелили прямо

на месте. — Синита сделала глубокий вдох, будто собираясь задуть все свечи на именинном торте своей бабушки.

— Но что такого ужасного делал Трухильо, что они решили его убить? — снова спросила я. Это никак не укладывалось у меня в голове. У нас дома портрет Трухильо висел на стене рядом с изображением Господа нашего Иисуса в окружении целого стада милых ягнят.

Синита рассказала мне все, что знала. Когда она договорила, меня трясло как осиновый лист.

*

По словам Синиты, Трухильо стал президентом довольно хитрым способом. Сначала он занимал одну из армейских должностей, и долгое время все, кто стоял на служебной лестнице выше него, просто пропадали, пока над ним не остался только глава вооруженных сил.

Этот человек, генерал-главнокомандующий, влюбился в чужую жену. К тому времени Трухильо стал его другом, и тот поделился с ним этим секретом. Муж той женщины был очень ревнивым человеком. Трухильо с ним тоже подружился.

Однажды генерал рассказал Трухильо, что назначил свидание этой женщине той же ночью под мостом в Сантьяго, где люди встречаются, чтобы заниматься всякими нехорошими вещами. А Трухильо пошел и рассказал об этом ее мужу. Тот дождался под мостом свою жену с генералом и застрелил их обоих насмерть.

Очень скоро после этого Трухильо стал главнокомандующим армии.

— Но, может, Трухильо действительно считал, что генерал поступил плохо, связавшись с чужой женой, — выступила я в его защиту.

Синита вздохнула.

— Погоди, — сказала она, — не спеши делать выводы.

После того как Трухильо возглавил армию, он начал общаться с людьми, которым не нравился старый президент. Однажды ночью эти люди окружили президентский дворец и заявили старому президенту, что он должен покинуть пост. Тот лишь рассмеялся в ответ и послал людей за своим другом, главнокомандующим армии. Но генерал Трухильо все не появлялся и не появлялся. Очень скоро старый президент стал бывшим президентом и улетел на самолете в Пуэрто-Рико. А потом, к удивлению даже тех, кто помогал свергнуть старого президента, Трухильо объявил себя новым президентом.

— И никто не сказал ему, что это неправильно? — спросила я, думая, что я поступила бы именно так.

— Всем, кто осмелился открыть рот, не суждено было прожить долгую жизнь, — ответила Синита. — Как моим дядям, о которых я рассказала. Потом еще двум моим дядям, а потом и моему отцу. — Синита снова заплакала. — А этим летом они убили моего брата.

У меня снова скрутило живот. А может, боль никуда и не пропадала, просто я забыла о ней, пока пыталась успокоить Синиту.

— Пожалуйста, остановись, — умоляла я. — Кажется, меня сейчас вырвет.

— Не могу, — сказала она.

История Синиты текла без остановки, как кровь из раны.

Прошедшим летом, в одно из воскресений, вся семья Синиты возвращалась домой из церкви. Вся ее семья — это мама, несколько вдовых тетюшек, куча кузин и ее брат Хосе-Луис, единственный мужчина, оставшийся в семье. Куда бы они ни пошли, девочек всегда усаживали рядом с ним. Брат постоянно твердил, что отомстит за отца и дядей, и по всему городу ходили слухи, что его преследует Трухильо.

Когда они шли по площади, к ним подошел уличный торговец и предложил купить лотерейные билеты. Это был карлик, у которого они часто покупали билеты, и они ему доверяли.

— А я его видела раньше, — сказала я. Иногда по дороге в Сан-Франсиско наш фургон проезжал через площадь, и он почти всегда был там, взрослый мужчина ростом не выше меня двенадцатилетней. Мама никогда не покупала у него лотерейные билеты. Она утверждала, что Иисус не велел нам играть в азартные игры, а лотерея — это, мол, самая что ни на есть азартная игра. Но каждый раз, когда мы были вдвоем с папой, он покупал целую пачку билетов и утверждал, что это прекрасное вложение денег.

Хосе-Луис решил попробовать вытянуть счастливый номер. Когда карлик подошел к нему отдать билет, что-то сверкнуло у него в руке. Синита заметила краем глаза только этот блеск. Через мгновение Хосе-Луис дико заорал, а мать и все тетюшки принялись наперебой звать врача. Синита взглянула на брата и увидела, что перед его рубашки залит кровью.

Тут я заплакала и начала щипать себе руки, чтобы унять слезы. Мне нужно было быть храброй для Синиты.

— Мы похоронили его рядом с отцом. Мать с тех пор места себе не находила. А сестра Асунсьон, добрая знакомая нашей семьи, предложила мне учиться в el colegio* бесплатно.

Боль в животе была такой сильной, будто внутри выкручивали белье — до тех пор, пока в нем не останется ни капли воды.

— Я буду молиться за твоего брата, — пообещала я. — Но, Синита, скажи мне только одно. В чем же тайна Трухильо?

— До тебя все еще не дошло? Минерва, очнись! Неужели ты не понимаешь, что за всеми этими убийствами стоит именно Трухильо?!

Я не сомкнула глаз почти до самого утра. Все думала о брате Синиты, о ее дядях, об отце и о тайне Трухильо, которую будто бы не знал никто, кроме Синиты. Я слышала, как внизу, в приемной, часы отбивали каждый час. Когда я все-таки уснула, комната уже начала заполняться светом.

Утром меня растолкала Синита.

— Вставай, — твердила она. — Опоздаешь на заутреню!

По всей комнате заспанные девочки шелестели тапочками, направляясь к переполненной ванной. Синита схватила с тумбочки полотенце и мыльницу и присоединилась к этому исходу.

Окончательно проснувшись, я почувствовала под собой влажную простыню. Господи, только не это, лихорадочно

* школе-пансионе (исп.).

пронеслось в голове, неужели я обмочилась?! И это после того, как уверенно заявила сестре Милагрос, что брезентовый чехол на матрас мне не нужен!

Я подняла одеяло и какое-то время не могла взять в толк, что за темные пятна расплзлись по простыне. Потом пощупала между ног и посмотрела на руку. Сомнений не было, у меня начались те самые заморочки.

iPobrecita!*

1941 год

Сельские жители вокруг ранчо говорят: пока гвоздь не забит, он не верит в молоток. Все, что рассказала мне Синита, я восприняла как ужасную ошибку, которая больше не повторится. А потом молоток со страшной силой обрушился прямо на нашу школу, прямо на голову Лины Ловатон. Правда, назвала она это любовью и уехала в закат, счастливая как новобрачная.

Лина была на пару лет старше меня, Эльсы, Лурдес и Синиты, но в последний год ее пребывания в Непорочном Зачатии мы все спали в одном dormitorio для девушек пятнадцати–семнадцати лет. Мы узнали ее и полюбили — в случае Лины Ловатон это означало одно и то же.

Мы все смотрели на нее снизу вверх, будто она была намного старше не только нас, но и всех семнадцатилетних. Для своего возраста она выглядела очень взрослой: высокая, с золотисто-каштановыми волосами и кожей, будто только что подрумяненной в печке и испускающей теплое золотое сияние. Однажды, когда Эльса надоедала ей в ванной, пока

* Бедняжка! (исп.)

Содержание

I. 1938–1946 годы.....	9
II. 1948–1959 годы.....	107
III. 1960 год.....	287
Эпилог.....	503
Послесловие.....	540
Благодарности.....	543
Примечание автора.....	544
Девочки Мирабаль.....	557